

САВЕЛЬЕВ

повесть

Что-нибудь о загубленной жизни —
У меня невзыскательный вкус.

С. Гандлевский

Часть первая

Савельев проснулся оттого, что кто-то рвался снаружи в балконную дверь.

Он лежал несколько секунд с оборвавшимся сердцем, прежде чем сумел вспомнить, кто он и где. Отель, Израиль... Как звать этот город? И что он здесь делает?

В чернильной мгле за стеклом чужое море, беснуясь, отгрызало куски пляжа, и дверь ходила ходуном. Спать было невозможно. Оставалось думать, и Савельев покорно лежал в дребезжащем мраке с открытыми глазами. Думать не получалось: страх расползлся, как чернила по промокашке, древний бессмысленный страх. Кто-то ломился в дверь.

Савельев нащупал выключатель, и страх вытеснила внезапная злоба, когда ночник осветил пространство, в котором он лежал. Что за идиотский отель она ему сняла? Какая-то недоделанная кубатура, даром что на море. Что толку в этом море?

Он собрался с силами и пошел на войну с балконной дверью, но проиграл: рама начинала биться в падучей, едва он переставал вжимать ее в косяк. Сэкономили на стеклопакетах, евреи... Савельев оскалился в отчаянной усмешке: ну и что теперь делать, а? Третий час ночи!

Он чувствовал себя идиотом.

Повело, называется, кота на святки¹.

Таня эта обнаружилась в фейсбуке месяц назад. «Леонтовская студия, 1986 год...» Студию он помнил, помнил Леонтова — сутулого, в вечном свитере, давящего в пепельнице дешевые папиросы... Вроде бы умер он недавно. Вообще на отшибе доживал, ни слуху ни духу... Но говорили: вроде умер.

Да, Леонтов, кумир молодости. Он вспомнил его каркающий голос, свои стихи, Ленку Стукалову, пожизненный шрам на сердце, и следом, конечно, Гальперина. Вспомнил Элика Шадрова и свою детскую ревность: у того вдруг напечатали подборку в «Новом мире»...

А вот эту Таню помнил нетвердо, осталось только на краешке памяти теплое звукосочетание — Таня Мельцер —

и ощущение, что целовались. Да, целовались, конечно, с кем он там не целовался! У него был табун поклонниц в этой студии, у юного гения, а что он гений, было решено с самого начала. Гений, любимчик и мартовский внесезонный кот в законе.

Четверть века прошла, блин.

Далеко внизу, на краю избитого морем пляжа, в слабом круге одинокого фонаря, пыталась взлететь пальма.

Какого рожна, подумал Савельев. Ностальгия пробила, любви захотелось напоследок... Да, думал он, плавая лбом стекло оконное и успевая изойти тоской оттого, что эта строка не его; да, любви! И ведь успел даже придумать, что она любила его всю жизнь, эта Таня Мельцер! А с чего вдруг женщина после смерти мужа отыскивает друга юности и зовет его приехать?

А еще — ее знакомая, поклонница таланта, узнала об их старой дружбе и ищет встречи с Савельевым: не против ли он поужинать? Когда он был против молодых поклонниц? Вот и рванул навстречу сюжету, на сердечный авось.

А она прислала в аэропорт болтуна-неряху в кипе: «Таню вызвали на работу, она просит прощения, она потом вам позвонит».

От присланного остро пахло потом. Савельев довольно демонстративно приоткрыл окно, но чудак даже не заметил этого и всю дорогу терзал разговорами о литературе: что вы думаете о том, об этом... Дико раздражали Савельева эти расспросы, — главным образом потому, что самого Савельева костлявый в кипе даже не упомянул!

Зато с трепетом спросил про Гальперина: вы с ним знакомы? как он, что? Даже по отчеству назвал врага, аж лицо скрутило у Савельева от этой соли на рану. Он что, справочное бюро?

— А вы меня не узнали? — вдруг улыбнулся водила.

— Признаться, нет, — холодно ответил Савельев.

— Я же в леонтовскую студию приходил, — обрадовал костлявый.

— А-а.

— У меня к вам просьба имеется... — завел он, и Савельева наполнило привычной ненавистью: все вокруг писали стихи и хотели, чтобы он помог их издать! Но энтузиаст хотел другого — поговорить пару часиков, под запись, о леонтовской студии для книги воспоминаний.

Кругом графоманы.

— Двадцать минут, — сухо сказал Савельев. — Завтра, в лобби.

— Где?

— На рецепции!

— А когда?

— Позвоните утром, — оттягивая обузу, сказал Савельев. — У вас же есть мой телефон?

— Да, Таня дала. Но... это... — Бедолага замялся. — Это дорого очень. Может, сейчас договоримся?

Савельев перевел дыхание: раздражение накапливало в нем неотвратимо.

— Хорошо. Завтра, в четыре.

— Годидзе! — Неряха аж причмокнул от радости, что провернул свое дельце, и на радостях дал газа. Савельев вцепился в сиденье: водить еще толком не умел дурачок этот, машину дергало все время. Слава богу, хоть довез целым в этот странный отель...

Нетания называется город, вспомнил Савельев, лежа в темноте под грохот балконной двери. Таня — Нетания...

Но что за работа такая, что нельзя снять трубку?

Еле отвязавшись от пахучего мемуариста (поужинать приглашал, дурачок), Савельев добил вечер прогулкой, вернулся в номер и еще час бессмысленно шарил по интернету, косясь то на айфон, то в фейсбук. Потом интернет рухнул, и он тоже рухнул в ожесточении в постель, — чтобы проснуться среди ночи с оборвавшимся сердцем.

Кто-то рвался в балконную дверь.

Когда он очнулся, было светло, и дверь потряхивало совсем легонько. Предутренний сон вытек из памяти, оставив по себе непонятную тоску. Савельев нашарил на тумбочке часы и не сразу навел глаза на резкость. Полежал еще, вспоминая сюжет, в который попал, и, заранее раздражаясь, пошел проверять айфон.

Айфон был как айфон; никто в него не звонил.

— Сука, — сказал Савельев и побрел в ванную.

На завтраке его царапнуло то, что смутило еще при заезде: огромный отель был почти пуст и недоделан даже; какие-то смутные румыны ковырялись в углу с розетками, обломки строительного мусора лежали вдоль стен, отсутствующее окно хлопывало полиэтиленом...

Официантка принесла кофе, круассан и липкую коробочку джема — это был здешний завтрак, и на этом завтраке он был один. А с чего он взял, что будет иначе? Она сказала

«у моря», — вот Савельев и подумал, что какой-нибудь «Шератон». Классом ниже его давно не селили.

И почему он вообще согласился, что его селит — она? А вот поди ж ты, полезло из души гниловатое, сладковолнующее: женщина платит... Господин приехал! И эта еще, молодая поклонница обещанная... Вот и расковыривай теперь коробочку джема на стройплощадке!

Савельев был зол на себя, но досада еще была готова перейти в лирический сюжет. Надо увидаться, подумал он. Мало ли что у нее случилось вечером, — может, чем-то хорошим сердце и успокоится.

Ему очень хотелось любви. К себе, разумеется, к кому же еще?

Савельев снова набрал ее телефон — безответные гудки.

Он поднял руку и злобно-терпеливо держал ее в воздухе, дожидаясь, пока его заметят. Второй кофе был тут за деньги. Черт с вами, запишите на номер! Только кэш, сказала официантка. Да что ж такое!

Шекелей у него не было. Банкомат в магазине, сказала официантка, магазин на площади. И по-английски, главное, сказала: по-русски тут еще не понимают, Израиль называется!

Искать банкомат Савельеву было лень — раскопал и показал официантке мятую бумажку в пять евро: возьмете? Поджала губы, кивнула, принесла кофе. Ну хоть так.

Он велел себе не расстраиваться по мелочам и ни о чем не думать, — авось прояснится само! Берег моря, три свободных дня, худо ли? Но мысль о досужем куске времени отозвалась привычной горечью.

Стихов давно не было.

А ведь были когда-то! Все становилось стишками в те первые московские годы, все перекликалось между собой и возвращалось в мир желчью и нежностью. Он боялся смерти и торопился жить, — оттого и писал взхлеб, и трахался с настойчивостью, изумлявшей Литинститут.

Но смерти не случилось, а случился слух о таланте, оации на читках, уважительный отзыв классика — настоящего, битого еще при Сталине... Все это сдетонировало внезапными новыми временами, когда вдруг стало *можно*, — а он сразу почувствовал эту грань и начал играть на опережение.

Смерть как-то подзабылась, а в будущем открылся нешуточный простор. Юная жилистая худоба, пшеничная челка, серые лермонтовские глаза на скуластом лице: смерть

бабам! (Ростом его природа тоже не обделила, Лермонтову делать нечего рядом.)

Дурь вдохновения отпускала свой товар щедро — и спустя четверть века Савельев помнил, каково это, когда сам становишься веной, в которую вставлена волшебная игла! Это было круче секса. В постели оставалось ощущение недостачи, да и сам симулировал, — а когда перло стихами, дописывался до полного освобождения и шатался потом по городу, счастливо опустошенный...

Савельев встал, чуть не расплескав кофе, и вышел наружу. Ветер освежил его, но принес только пустоту. Ни строчки не принесет ему больше никакой ветер, — это Савельев понял давно, а жизни, будто в насмешку, оставалось еще много, вот он и занимал ее разными способами. Этой Таней, например...

Официантка недобро посматривала в сторону Савельева, как будто он сбежит из-за чашки кофе, — ну не дура? Из гордости Савельев постоял на ветру дольше, чем хотелось, и побрел отдавать свои пять евро. И тут, оборвав понапрасну савельевское сердце, заквакал навстречу айфон, оставленный на столике.

Номер был не Танин, московский, неприятно-знакомый. Савельев, брезгуя, не вносил его в телефонную книгу, но глаза все помнили...

Это и «корпоративом» еще не называлось в те годы — просто позвали выступить и посулили сто рублей. Удивляясь такой прухе, юный Савельев поперся на край города почитать стишки... Был успех, просили еще, и он остался у микрофона — и вернулся к столам триумфатором.

Крупного помола человек жестом, как муху, согнал сидевшего напротив — и указал на освободившееся место. Ну, за сто рублей можно и посидеть. И на втором слове оказалось, что детина этот, владелец кооператива, тоже воронежский. Мало сказать: чуть ли не с соседних улиц отправлялись в Белокаменную за биографией!

Подставленная для хлопка ладонь, улыбка до мясистых ушей:

— Зёма!

Слова этого Савельев не знал, догадался по звуку: земляк, земля... Слово было армейское, а от армии Савельева бог миловал.

Ляшин же, к чьим берегам прибило в тот день савельевскую жизнь, любил повспоминать про священный долг, пересыпая пахучие сюжеты густым матом. Матом он

разговаривал и на другие темы и вообще был плоть от плоти народной. Веселая сила сочилась из земляка, бессмертием пахло от каждой секунды: вот уж кто не собирался умирать никогда!

«Все под контролем» — было любимое его выражение, и сразу становилось понятно: не врет! Савельева потянуло к Ляшину, как диабетика к коробке с инсулином.

Через пару дней он зашел к новому приятелю в офис и задохнулся от тайного восторга: Ляшин был богат. Кабинет с секретаршей, и какой секретаршей! Массивная мебель, коньяки в шкафах, телевизор в полстены...

Богатство подчиняло Савельева. Никогда он не видел такого, — да и где ему было такое увидеть? Смежные комнаты в хрущевке, вечный стыд безденежья... Ляшин, впрочем, взлетел на свои вершины вообще со дна.

Настоящие вершины были у «зёмы» впереди, что там серванты с коньяками! Многие из шедших на взлет в те годы стали потом частью пищевой цепочки, — многие, только не Ляшин.

Савельев начал захаживать на уютные задворки Земляного Вала, находя странное удовольствие в офисном китче, в брутальном взгляде нового приятеля на мир, в грязноватых диалогах под пузатенькую бутылку, о цене которой было стыдно и приятно думать. Играючи принял положение младшего, жизни не знающего: гнилой интеллигент в обучении у народа...

И хотя подчеркнуто валял дурака, изображая приниженность, — приниженность была настоящая, и Савельев смущался, чувствуя это.

Четверть века просвистела в ушах, и почти всех выдуло вон из савельевской жизни, а Ляшин остался. От него звонили, и Савельев знал, зачем звонят, и не снимал трубку.

Савельев расплатился, злобно дождался сдачи еврейскими монетками — и снова вышел на пляж, побитый ночным ураганом.

Море дышало приятным остаточным штормом, и кусок первозданного неба поглядывал на Савельева в дырку меж облаков. Постояв немного с инспекторским видом, он направился на ресепшн, твердо решив добыть интернет и поработать.

Прорежется эта Мельцер, никуда не денется, а он покамест колонку напишет, вот что! Эссе эдакое, про кризис либерализма. Давненько от него Европа люлей не получала...

Савельев взбодрился. Все-таки он не хрен с горы, а важная часть культурного процесса!

Вялая девица на ресепшне даже не извинилась, халдейка, за упавший интернет. Савельев хотел прочесть ей лекцию о том, что не надо экономить на клиентах, но англиша не хватало, а тут еще в спину пялилась какая-то тетка. Прилюдно позориться не хотелось, и, состроив гримасу, Савельев двинулся в сторону номера.

И обернулся на свое имя.

Тетка смотрела уже не из зеркала.

Что это и есть Таня Мельцер, Савельев скорее догадался, чем увидел. Изобразил улыбку: привет. Но обмануть не получилось ни себя, ни ее. Она была некрасива, хоть сейчас и прощайся. Да еще в какой-то нелепой хламиде.

«Какого хрена приперся?» — в тоске подумал Савельев. Ну целовались. Так ей же восемнадцать лет было!

Но при чем тут возраст. На Савельева смотрела странная женщина. Смотрела — он вздрогнул — почти ненавидящим взглядом. Потом отдернула глаза и заговорила, теребя в руках сумку.

— Прости, вчера не могла: вызвали на работу, забыла телефон...

Она говорила, глядя Савельеву за плечо. Врать эта женщина не умела.

— Ну хорошо, какая разница, — перебил Савельев, почти не скрывая раздражения. — Здравствуй.

Тетка посмотрела ему в глаза:

— Здравствуй.

И он вспомнил.

Как в потрескавшейся кинохронике, увидел сквер на Поварской, скамейку, худосочную девушку с запрокинутой головой, нежную жилку у глаза... Глаза эти закрылись тогда мгновенно. Поцелуй казался предвестием полной власти, и юный поэт успел прикинуть маршрут до проверенного убежища на чердаке, но ему вышел облом: Таня не пошла. Вторая попытка затянуть девицу в омут тоже не удалась, а третьей он и не делал: целовался уже с другими... Жизнь-то одна!

А Таня Мельцер все приходила на его выступления в леонтовский подвальчик — и смотрела вот этими жалкими глазами из третьего ряда какого-нибудь. Однажды подошла: «Вот. Это тебе».

Это была книга в серой замшевой обложке, отстуканная на «Оптиме» и сшитая под обрез: его стихи. Первая книга!

Тираж четыре экземпляра — так и написала на последнем листе. Недавно выпало на него это рукоделье из книжных завалов...

Жизнь пролетела в мозгу у Савельева и вернулась в лобби отеля, где стояла, глядя на него, некрасивая женщина в хламиде. И девица, не отрываясь, смотрела на них из-за стойки: даже проснулась, дрянь, почуяв сюжет.

— Пойдем куда-нибудь, — сказал Савельев.

Они вышли из отеля и, отворачиваясь от ветра, цугом побрели по улице — он и некрасивая тетка чуть впереди. Пальмы кивали, что-то зная о происходящем.

Пустое кафе на берегу ждало только их.

Савельев заказал салат: он был голоден; Мельцер есть отказалась, закурила, глядя в сторону и лишь иногда бросая на него внимательные взгляды. Было странно, но интересно. Что этот сюжет не про любовь, Савельев уже понял. А про что? И — как насчет обещанной молодой поклонницы? Савельев постеснялся спрашивать сразу, но, в общем... э-э-э...

Незнакомая чужая женщина собиралась с силами, чтобы заговорить. Савельев решил не помогать, наблюдал. Море ходило валами за ее спиной.

— Ну, — весело спросила наконец Таня Мельцер, — как жизнь?

В неестественно бодром голосе звучал вызов, и он принял его, отрезав без подробностей: жизнь — нормально!

— Ты хотела меня видеть, — напомнил он через несколько секунд.

— Да, — ответила она. — Давно не виделись.

Не виделись они и вправду бог знает сколько лет, но в простых словах Савельеву послышался опасный смысл, и мир вокруг начал заполняться знакомым гулом... Он помнил, когда это началось, и дорого дал бы, чтобы забыть.

Душа взмывала куда-то — и перед тем как вернуться, успевала увидеть Савельева снаружи.

Потом начались фобии, и панической атаке предшествовал все тот же предательский гул в голове. За Савельевым кто-то следил, и этот кто-то имел право на его жизнь. Савельев не верил в бога, но это был точно не бог. Это была конкуренция, а не власть.

Потом в его жизнь вошли тяжкие сны. Это я, беззвучно кричал он, но никто не верил ему, и все проходили мимо — его женщины, его жена... Пограничник сверял лицо

с фотографией и просил пройти куда-то, и обрывалось во сне савельевское сердце: попался! И он просыпался в холодном поту.

И раз за разом сутулый старый поэт из прошлой жизни кашлял, давя в пепельнице папиросу, и всматривался исподлобья... И качал головой: ты не Савельев.

И только Ляшин радостно кричал «зёма!» и хлопал ладонью о ладонь.

И сейчас, в прибрежном кафе на чужом краю света, пока валуны воды шли на него и оседали за спиной малознакомой женщины, — Савельева пробило холодом вдоль хребта: в прошлом расплзалась дыра. Между ним и этой женщиной было что-то важное!

Он быстро глянул в глаза напротив. Ненависти не было там — была печаль и была тайна. Незнакомая Таня Мельцер пришла рассказать ее и не могла решиться...

— Говори, — прохрипел Савельев. В горле вдруг пересохло. Он вспомнил, как кто-то рвался ночью в балконную дверь.

— Я не знаю, с чего начать, — ответила женщина.

— Начни с чего-нибудь.

Она помолчала, глядя вбок, а потом спросила:

— Как ты себя чувствуешь?

В кармане снова заквакал айфон, и Савельев почти крикнул в раздражении:

— Перестань валять дурака! Говори, зачем пришла!

— Не кричи на меня, — ответила женщина, и он похолодел: ему не показалось. Она смотрела ненавидящими глазами.

Айфон продолжал блямкать, вибрируя в кармане и доводя до бешенства. Савельев, не глядя, настиг и задавил звонок.

— Зачем — ты — меня — позвала?

— А ты зачем приехал? Довести дело до конца? — Она почти шипела на него, и злые огоньки горели в зеленых глазах. — Расстроен? Ну извини. Овчинка выделки не стоит, скисло винцо...

— Не говори глупостей! — крикнул Савельев, готовый подписаться под каждым ее словом.

И услышал:

— Я хотела тебя убить.

Он даже не удивился, а спросил только:

— За что?

Женщина не ответила. Она смотрела вбок. Принесли салат; официантка спросила что-то, потом переспросила. «Нет,

спасибо», — ответил ей Савельев, так и не поняв, о чем была речь.

Они снова остались одни, и незнакомая ему Таня Мельцер, помолчав, сказала:

— Это все неважно. Прости. Не надо было мне приходить...

Савельев почувствовал вдруг невыносимый голод.

— Я поем, пока ты меня не убила?

Шутка не разрядила ситуации, и он стал запихивать в себя куски еды, впрямь ощущая странное счастье оттого, что жив. Он ел, а она смотрела вбок. Потом Савельев поднял глаза: женщина опять рассматривала его, как будто видела впервые.

— И все-таки, — сказал он с заново оборвавшимся сердцем.

Таня Мельцер покачала головой.

— Не надо. Это мои заморочки. Ты ни при чем. Прости. Правда не надо. Повидались, и все.

— Хорошо, — сказал он. И осторожно спросил: — Как ты жила?

Внезапная красота осветила лицо женщины, сидевшей напротив. Он не поверил глазам: Таня Мельцер улыбалась.

— Я была счастлива, Олег. Я была счастлива.

Савельев женился на исходе «совка» — на дочери известного московского поэта. Не первого ряда был поэт, но из приличных. Да неважно это! А важно было, что Ленка Стукалова вышла замуж! И добро бы просто замуж — вышла за Гальперина!

Имя счастливца ранило Савельева в самые потроха.

Гальперина он давно вынюхивал издалека, как зверь вынюхивает зверя крупнее себя. Тот был чуть старше по паспорту и сильно старше по биографии — неполная мореходка, чукотские экспедиции, лечение от запоя и хромая нога в придачу. Шутки про Байрона Гальперин принимал с веселым спокойствием: самоощущением был не обделен.

И вот — Стукалова! Тоненькая, приветливая, недоступная. Единственная. При ней Савельев разом терял свой победительный напор и становился трепещущим мальчиком, но этот ледок так и не растаял...

Гроном среди ясного неба стала весть об их свадьбе. И непонятно было даже, где они могли познакомиться! Савельев перестал спать; все ворочался, представляя нежное забытие красавицы в руках умелого соперника... Потом стиснул зубы и решил выбить клин клином.

Юля любила Савельева и была вполне себе хороша (зубы только крупноваты), но если вычесть из комбинации папусовписа, то, в общем, ничего особенного; это был билет в клуб, и Савельев понимал приоритеты.

Жена поняла их не сразу, а поняв, застыла в иронической гримасе, плохо скрывавшей тоску. Беременность пришлось очень кстати: она переключилась на будущего сына, а Савельев отвалил в собственные сюжеты. Все рухнуло гораздо позже, когда Савельев и думать забыл о жене, а тогда было не до того: он шел наверх, назло тем двоим...

Судьба разворачивалась на зависть миру, ничего не знавшему о скелете в савельевском шкафу. Публикации шли десятками, его уже всюю показывали по телевизору и приглашали в престижные тусовки; гонорис кауза, так сказать, — и самого по себе, но и как представителя касты!

Тесть ему симпатизировал. Потом-то перестал, а вначале — симпатизировал очень. С ним, намертво застрявшим в шестидесятничестве, Савельев был почтительно-ироничен, поняв однажды, что в новом литпроцессе сам значит уже гораздо больше. А вот тещи сторонился: дочернего неравенства она не простила и твердо держала холодноватый тон; даже внук не размягчил обиженного материнского сердца.

Лешка рос смешным и симпатичным, но не от этого колотилось учащенно савельевское сердце, не от этого! Он слышал про себя однажды, что он — безусловный «номер раз» в своем поколении. И хотя говорила это цэдээловская тусовочная тетка, на которую в прочее время было наплевать, Савельев тут же полюбил ее как родную и чуть не переспросил: лучше Гальперина?

Но когда у того вышла подборка в «Знамени», Савельев долго не мог заставить себя открыть журнал: боялся, что стихи понравятся. Потом все-таки прочитал и несколько дней ходил с испорченной душой. Дьявол! Стихи были настоящие...

Он следил за Гальпериным, ревниво ловя встречный интерес, но встречного интереса не было, и это неподдельное равнодушие было уже совершенно невыносимо. Савельева не держали за человека, его не принимали в клуб!

А компания собиралась славная — то в гальперинской квартире на Хорошевке, то на десяти его сотках в Перхушково... Земля слухом наполнилась! Старшие привечали хромого как равного, а Савельев все валандался в ЦДЛ и светился на презентациях (только появилось тогда

это слово, вобравшее в себя мечту бывшего советского народа о бесплатном обеде).

Потом какой-то добрый человек перенес с Хорошевки оброненную по его адресу усмешку и слово «штукарь», и в тот вечер Савельев отдал себе наконец отчет в том, что ненавидит Гальперина.

Он уже и Стукалову не любил — ненависть забрала все силы.

Существование счастливца отравляло собственные стихи: с ужасом понял Савельев, что соревнуется, примеряет написанное к чужой мерке, все пытается подняться туда, в холодноватое отчаяние гальперинских текстов...

Весть о том, что Стукалова ушла от хромого, пролилась сладким бальзамом на эти раны. Савельев остро захотел подробностей и легко узнал их: Гальперин сам выгнал жену после пьяного скандала. Развязал, значит. Это обрадовало Савельева дополнительно...

С новыми силами он организовал рывок в стратосферу, и через третьи руки улетела за океан книга стихов — к великому нобелиату, с элегантно-дарственной... Савельев затаился в ожидании ответа. Отзыв пришел нескоро, косвенный и небрежный. Говоря прямо, Савельева отшили.

В день, когда он узнал это, его, озлобленного на судьбу, столкнуло на улице со Стукаловой. Она обрадовалась ему, и он вцепился в этот шанс. Он должен был ее трахнуть, должен! Речь шла уже не о любви: Савельев вышел на тропу мести.

Но и мести не получилось: едва он включил интимный регистр, как непроницаемая стена встала перед ним. Отвратительнее же всего было то, что Стукалова, кажется, обо всем догадалась.

— Я люблю другого, — сказала она, беспощадно глядя ему в глаза.

Он ехал потом домой, ненавидя себя, Стукалову, жену с ее зубами... всех, вообще всех! Нет, он не был счастлив. Никогда не был. А Таня Мельцер — была. И улыбалась ему — через минуту после слов «я хотела тебя убить».

Савельев вздрогнул, вернувшись в настоящее: моря не было за ее спиной, все снова поглотила серая пелена.

— Ну хорошо, — глупо ответил Савельев на сообщение о чужом счастье. За окном хлестало струями ливня и мотало взад-вперед пальмы. — Ну и погодка у вас.

Он вдруг сообразил, что просидит тут бог знает сколько времени: деваться было некуда.

— В феврале всегда так, — ответила Таня.

— Давно ты тут? — спросил Савельев, и странное напряжение снова повисло между ними.

— С девяносто пятого.

Голос ее дрогнул. Все это почему-то имело отношение к его жизни, и Савельев двинулся наугад:

— Расскажи.

— Что? — вздрогнула женщина.

— Расскажи, — настойчиво повторил он.

Она пожала плечами:

— Уехала. С мужем.

— Я его знаю?

Она замолчала и отвела глаза, и в наступившем провале Савельев едва подавил паническую атаку. Бежать! В ливень, куда угодно, только подальше отсюда...

Разговор вернулся в ту же тревожную точку. Женщина подыскивала слова, не решаясь произнести какое-то одно, главное, и в кармане, напоминая о савельевском рабстве, снова отвратительно квакал недодушенный айфон.

Почему он так старался понравиться «зёме»? Савельев боялся думать об этом: жесткая сила давно подчинила его душу...

На ляшинский тридцатник Савельев намарал и исполнил в застолье веселый стишок. Ляшин уже был депутатом; и сам раздался, и кооператив распух в корпорацию. Десятилетие прошло не напрасно — «зёма» жил в охотку, чужа и удивляя товарищей по мелкоолигархическому цеху: личная линия парфюма, коневодство...

А еще он — пел. Любил взять в ресторане микрофон и, помахивая в такт ручищей, исполнить из Высоцкого. Многим нравилось, да и куда им было деться?

Юбилейный стишок Савельева имел успех, а гуляли в центровом месте, прямо указывавшем на новый статус «зёмы»: одной obsługi шныряло десятка три. Гость был отборный — свой же брат депутат, министры вперемешку с авторитетами да звезды эстрады вприкуску... Савельев знал многих в этом зале, и его знали почти все: поэтическое десятилетие тоже не прошло даром.

Морок подступил внезапно и объял душу целиком. Савельев сидел за столом и в это же время ясно увидел себя вчуже — словно с невидимой телекамеры, облетающей этот

небюджетный ад на останкинском кране: не вижу ваших рук! ваши аплодисменты!

Он перекладывал себе на тарелку присмотренный кусок осетрины (осторожно, чтобы легло сбоку от салата) — и ясно видел это общим планом. Слышал гул и посудный звон, смотрел на чью-то жену, что-то говорившую ему, и с ужасной отчетливостью видел шевелящиеся, густо намаженные губы. В ноздри бил сладкий запах ее духов, и причудливо расчлененный ананас в вазе смотрелся зловещей шуткой...

Савельев извинился и на ломких ногах, в росе холодного пота, пошел в туалет, продолжая видеть себя снаружи.

Две пригоршни холодной воды не помогли: гул продолжался. Он распрямился и с опаской посмотрел в лицо, смотревшее из зеркала. Это лицо было уже почти незнакомо ему.

Выходя, Савельев оглянулся. Тот, в зеркале, смотрел тревожно и продолжал смотреть, когда Савельев закрыл дверь.

Холодный вечерний ветер обнял его с жалостью, — уже не юношу, бывшего поэта, клоуна на чужом пиру. Все еще будет хорошо, сказал он неверными губами. С какой стати? — усмехнулся тот, что жил внутри. С какой стати все должно быть хорошо?

Свиньячья рожа, при серьге и жилете, явившись из темноты, просунула к лицу Савельева узкую пачку. Савельев отпрянул и помотал головой: не курю.

— Помнишь меня? — спросила рожа.

Савельев снова мотнул головой и услышал собственный голос, сказавший:

— Нет.

— Да ладно! — всхрюкнув, хохотнула свинья. — Ла-адно! Загорди-ился...

И погрозила Савельеву пальцем.

Этот ужас преследовал потом Савельева. Он пытался выхаркать самую возможность знакомства с этой рожей — и не мог. Самое отвратительное заключалось в том, что рожа, несомненно, была видена раньше, и подлая память безжалостно раскладывала веер вариантов: тусовки, фестивали, сауны...

Как-то закрутило Савельева в те годы. Как-то само собой все это с ним случилось.

Жена давно взяла устало-снисходительный тон: лети, дорогой, пособирай пыльцу. С Ляшиным у нее заискрило

сразу, и больше Савельев к «зёме» жену не брал — ни на Коста-Браво, ни на дачу...

На даче — государственной, с овальными бирками на мебели — Савельев писал для Ляшина книгу, байки из депутатской жизни. Писал со стыдным удовольствием: литообработка, при тучном гонораре, была анонимной. Сначала он даже не поверил ушам, услышав цифру, решил: перекурил кальяна друг-зёма, попутал нолики...

Но все было на самом деле: и нолики, и личный ляшинский шофер, и милицейская машина сопровождения — с криканьем и ветерком, вдоль глухой пробки на Кутузовском; просторные недра Рублевки, шашлычок, отменно приготовляемый холуем, откликавшимся на погоняло «Лукич», рассказы «зёмы» о жизни элиты с громкими хохотунчиками и матерком...

Элита обитала тут же, за заборами.

Приобщился Савельев, что говорить. Для того ли разночинцы рассохлые топтали сапоги? Да вот, видать, для того.

Потом наступили новые времена, и Ляшин быстро посерьезнел вместе с ними. Боль за Россию появилась в нем, нешуточная тревога об отечестве проступила в раздобревшем теле. Война опять-таки. Чечены, млять, задолбали, мрачно ронял «зёма», но оживление выдавало его.

Мрачность была государственной, а оживление — свое: под вторую чеченскую Ляшин отжал с поляны конкурента, не угадавшего с происхождением. Депутатский запрос в прокуратуру сопровождался статьей о подвигах чечена в лихие девяностые. Не хотелось Савельеву писать ту статью (даже анонимно не хотелось), но Ляшин, собственно, и не спрашивал: это было поручение.

Савельев закочевряжился для порядку, но «зёма», чисто по-дружески, пошел навстречу, поговорил как с человеком, дал слово, что чеченец — бандит настоящий. Да тот и похож был на бандита!

И Савельев сварганил убойный текст.

Он писал, легко вживаясь в бойкий стиль комсомольской газеты: он почти пародировал! Это было упражнение на тему, утренняя хроматическая гамма профессионала. Разминка пальцев заняла два часа, а денег дала столько, что Савельев еще неделю ходил со шкодливой улыбкой на лице.

Все было неплохо, и только стихи как отрезало, так и с концами. Отчаяние ушло куда-то. А было когда-то первосортное отчаяние, было — горькое, настоящее! Оно

давало подъемную силу строке, оно держало строфу на расправленных крыльях любимого четырехстопника с сердечным перебоем цезуры посередке...

Но какие там цезуры! — давно был телеведущим Олег Савельев, ироничным красавцем и колумнистом: кругом говно, а я ромашка... И не раз и не два корежило его от зрительского полуузнавания: ой, вы же в телевизоре выступаете... ну, в этой передаче, да? еще стихи читаете!

«Вы юморной», — похвалил его однажды незнакомый тинейджер, тормознув скейт, на котором катил по тротуару в незнаемое жесткое будущее. Юморной! Савельев кивнул кислой мордой и побрел прочь, но тут же остановился: прихватило сердце.

Это случилось с ним в первый раз, и он испугался. Все вдруг стало совсем просто и страшно, и женщина в легком платье прошла мимо, успев удивиться отчаянию, застывшему в глазах незнакомца.

Машины в вечерней пробке, подобные похоронной процессии, ползли по Садовому с длинными тенями наискосок, и кто-то строгий смотрел сверху, как стоит на тротуаре сорокалетний Олег Савельев, пытаюсь понять: напоследок ему эти тени, это солнце, эта женщина... — или еще дадут пожить?

Его отпустили пожить — и снова поволокло волоком через какую-то дрянь, и не было сил взять в руки судьбу, и обморок продолжался...

И кто-то продолжал следить за ним.

Савельев выждал, пока доблямкает айфон в кармане куртки, и отключил его, отрезал с шеи проклятый поводок! И поднял глаза на стареющую женщину, нервно давившую в блюдце окурки.

На Таню Мельцер из позабытой леонтовской студии. Не видевшую его четверть века. Уехавшую в Израиль. Овдовевшую. И позвавшую в гости, чтобы убить.

Передумавшую, — хотя это, кстати, еще вопрос.

Савельев вдруг сообразил, что в сумке, которую женщина держит на коленях, может лежать пистолет. Идиотская мелодрама! Смешно и глупо, но погибнуть можно на раз.

— Говори, — сказал Савельев, косясь на неухоженные освободившиеся руки. — Не бойся.

И, подождав, сам ответил на вопрос про покойного мужа.

— Я его знал?

Она кивнула, чуть замешкавшись.

— Расскажи.

— Олег, — сказала Таня и повторила, будто прислушивалась к звуку его имени: — Олег... Я ведь спросила: как ты себя чувствуешь?

— В чем дело? — выговорил Савельев и услышал, как с шумом ходит кровь в его голове. А потом услышал, как из гулкого провала:

— Помнишь пансионат «Березки»?

Его бросило в такой жар, что он даже не успел удивиться: откуда ей известно?

Его привезли в эти «Березки» на пятисотом «мерине» через пустой январский город и смеркающиеся просторы. Стояли веселые деваностые, и за корпоративы платили очень хорошо. Кот-охотник, Савельев отпустил «мерс» — и остался в пансионате до утра.

В баре, куда он поднялся ближе к ночи, обнаружился желанный женский коллектив, уже разогретый шампанским. Их было пять, и все из его давешней публики; унылый пьяница за соседним столиком только подчеркивал беспронимательный характер этой новогодней лотереи.

Савельева, разумеется, позвали пересесть, и он пересел и начал осматриваться.

Толстуха в углу была совсем никакая, гранд-дама с начесом отпадала по возрасту и парткомовским повадкам; еще две были в приятной бальзаковской стадии, причем одна приступила к атаке сама: прислонилась к Савельеву бедром и, как бы в приступе неудержимого смеха, начала его нежно потискивать. Эту крепость не надо было и штурмовать.

Пятой была тихоня, сидевшая напротив. Чуть слышно сказала: Лена. Она смотрела, как Савельев валяет дурака, — но валял-то он дурака с хохотушкой, а поглядывал на нее. И, расчетливо посерьезнев на паузе, встретил прямой взгляд серых глаз, и его окатило теплом. Это был выигрышный билет.

Когда она встала, выпуская подругу в туалет, Савельев затаил дыхание: при девушке были не только глаза. Она была уже его, эта Лена. Он понял, зачем остался тут до утра.

Коллектив пришлось брать измором, но наконец до всех дошло, что пора идти. Хохотушка с досады пошутила напоследок в адрес юных женских чар, Савельев сделал вид, что не расслышал, и они с сероглазкой остались почти одни.

Они, буфетчица за стойкой, навсегда задравшая голову в телик, — да мужская компания в углу.

У Савельева сразу заняло в животе, когда он увидел эти спины и бицепсы. Один из силачей в открытую рассматривал девушку, и Савельев, уже накрывший ладонью тонкое запястье, потерял нить разговора. Надо было уходить, но он понял это поздно: атлет шел к их столику.

Он присел, развернув стул к Лене, почти спиной к Савельеву. И, подчеркнуто вежливый, — той холодной вежливостью, за которой стоят совсем другие возможности, — протянул ей руку и назвал свое имя...

Воспоминание об этом затейливом имени много лет потом отравляло Савельеву жизнь; однажды он нагрубил незнакомому продюсеру, внезапно оказавшемуся тезкой того январского ужаса...

Девушка, оцепенев, протянула руку. Детина сказал «очень приятно» и оставил ладошку в своей огромной ладони. Лена попробовала высвободиться, но атлет играючи придержал ее, и она бросила несчастный взгляд на Савельева.

И Савельев сказал:

— Э-э...

Сказал жалко-миролюбивым голосом: мол, зачем это? И миг себе опротивел.

Но детина как будто ждал этой реплики.

— Что «э»? — спросил он, обернувшись. — Что «э»? Ты крутой, да? Крутой?

— При чем тут «крутой», — поморщился Савельев и услышал:

— Пошел на ... отсюда.

Кровь бросилась в голову. Девушка рванулась к выходу, но атлет легким движением руки вернул ее на стул. Савельев вскочил:

— Прекратите...

Он хотел сказать «хулиганить», но понял, как это книжно прозвучит, и скис. Атлет побрезговал даже встать навстречу, — встали и подошли вразвалочку двое его дружков.

— На ... пошел, — повторил детина.

— Вы... — начал Савельев — и получил по лицу. Детина и тут не стал вставать: дотянулся, чуть подавшись вперед. Нервы у Савельева сдали, и он истошно закричал, подскочив к барной стойке:

— Позовите милицию!

Но никого уже не было за стойкой: телевизор веселил пустоту.

Конец ознакомительного фрагмента.
Для приобретения книги перейдите на сайт
магазина «Электронный универс»:
e-Univers.ru.